

Сабанеев Л. Что я помню о Чехове. (По поводу столетия его рождения) // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1960. 14 февраля. № 17132. С. 8.

ЛИТЕРАТУРА

Что я помню о Чехове

(По поводу столетия его рождения)

Первые точки соприкосновения с А. П. Чеховым я получил от моего отца. Дело в том, что мой отец, начиная с 1973 года, издавал в Москве "Природу и Охоту" — охотничий журнал, имевший в прежней России очень большую популярность и распространение в самых разнообразных слоях русского общества, начиная от императорской семьи и кончая... Лениным: — охотничья страсть объединяла самые различные политические убеждения. И в этом журнале начинающий Чехов (тогда еще писавший под псевдонимом или под инициалами) поместил одно из своих ранних произведений — тоже на охотничий сюжет (хотя он по своему мягко сердечному был плохим охотником). Это было, видимо, в годах 1882—84. Впоследствии я тщетно искал этот небольшой рассказ, но нигде не мог разыскать старые номера — "Природы и Охоты" — они все разошлись. В полном собрании Чеховских сочинений его не оказалось. Возможно, что сам Антон Павлович или забыл про него или признал его маловажным, как он вообще не очень любил свои ранние, наивно-юмористические произведения, подписанные "Чехонте".

Тем не менее Антон Павлович сохранил некоторые нежные чувства к моему отцу, пришедшему его ранние плоды творчества, и нардека его называл. Это было в годы 1887—89 — я был тогда мальчиком и Чеховым мало интересовался. Он сближался с моими родителями, но и его мало видел, главным образом потому, что несмотря на еще малую возраст, Антон Павлович уже тогда был чахоточным, и родители избегали с ним общения. Потом, уже после смерти отца я встречался с ним больше и чаще, юншей — в доме моего родственника, доктора, директора Ольгинской больницы в Москве, который был одних лет с Чеховым и товарищем его по университету. И мне врезалась в память его фигура, его облик типичного "русского интеллигента", его глухо-матый негромкий голос, его пошатывание, его характерная на специально ироническая манера разговора, никогда не злобная, а скорее печальная.

Запомнилось и то, что он, уже в те годы тяжело пораженный туберкулезом, кашлял кровью и всегда носил с собой запас бумажных "фунтиков" в кармане, куда он и выплевывал свою мокроту, потом вытирал бумажку и прятал в карман. Помню и то, что мне казалось сомнительной эта процедура с чисто гигиенической стороны. Говорю же — доктор ему сказал: видимо тоже не выдержавший этого ареста:

"Антон Павлович, почему ты коллекционируешь свой туберкулез — предавай его лучше всеобщему — в печке".

И он заставил его опростать карманы и сжечь содержимое... Антон Павлович тихо послушался, как уличенный ребенок и робко промолвил:

"Я совершенно согласен — это не гигиенично, но я не хочу никому мешать".

И мне стало его в этот миг невыразимо жаль. Он всегда был именно такой: тихий, не желающий никому мешать. Лев Николаевич Толстой, который его очень любил и как писателя, и как человека, называл его "бариней" — за эту тихость и скромность. Чехов смотрел на Толстого почти как на божество, считал свое дарование несоизмеримым с толстовским гением, но говорил про себя: — у меня небольшой литературный голос, но он все таки мой собственный, и я ни с кем бы им не поменялся".

Человек совершенно неверующий, органически чуждый религиозного мифа о сверхъестественном (как очень многие интеллигенты русского его поколения) он был органически и совершенно естественно человеколюбив и чуток к всякому человеческому горю. Он был гениальный праведник не только на словах, но

и на деле, в противоположность Льву Толстому, которого (Скрябин называл "бездарным праведником" (и был в сущности прав). Но слов утешения у него на его духовной палитре не было: он не знал их и искренне в этом признавался — оттого происходила глубокая скорбность его творчества, драпированная в одеяния иронии и даже юмора, но оттого не теряющая своего трагизма, скорее его рельефно выделяющая.

Русский интеллигент по своему облику, в своих делах он был отличен от интеллигентской типичной массы: он был между прочим чрезвычайно, даже невероятно энергичен в деятельности, особенно принимая во внимание его хроническую и тяжкую болезнь. Он был земским деятелем, плодотворным и умелым, открывал школы, больницы, и глубоко любил именно эту реальную деятельность, был активным и бескорыстным земским врачом. Ему была не чужда известная и значительная деловитость и практицизм: — с какой любовью он устраивал свою крымскую дачу и как аккуратен и упорядочен он был в работе и в жизни! Он вообще в разговоре никогда ничего не проповедывал — но часто возвращался и скороно возвращался к основным, по его убеждению порокам русского человека (увы — эти пороки не только российские, но видимо просто общечеловеческие). Он их даже нередко перечислял: невежество, грубость, лживость, жестокость, равнодушие, отсутствие интересов (спячка души), лень, нечистоплотность, стяжательство и хамство. В способности религии умиротворять эти пороки он не верил, как не верил и в самое религию; более того, полагал, что религия развращает ханжество, лицемерие и жестокость. Но он не верил и в социальный рай и в способность политических доктрин из-

менить человечество. Если во что либо он верил — то только в науку и в искусство причем в науку больше чем в искусство. У меня из бесед с ним на протяжении годов (1898-1903) сложилось впечатление что в его душе гнездилась вера в спасительность науки и знания в проблеме улучшения человеческого бытия и человеческого духа.

В социализм какого бы то ни было типа он не верил считал его кабинетной выдумкой людей далеких от знания народных масс. Напротив он любил собственность, любил свой дом и любил жизненный комфорт, ничего в нем аморального не видел. Ни в одну политическую группировку он не входил, но симпатии его были все таки на стороне левого фланга русской политической мысли. О политических вопросах он вообще говорить не любил, считая что они "пробуждают спящие зверские инстинкты" даже в самых мирных людях. Думаю, что, доживи он хотя бы до первой русской революции (1905 года) — он бы голосовал за "кадетскую партию". Умеренность была его характерной чертой и видимо он считал это положительным качеством.

Немного он говорил о своем творчестве, и о своих театральных успехах. О последних он говорил более проивно, полускептически, как и обо всем своем творчестве, заслоняясь проиней от собственной почти болезненной скромности. Отдавая полную дань вождям Художественного театра и вполне понимая, что именно им он был обязан значительной долей своей известности, он во многом не соглашался с их трактовкой его пьес: он представлял себе их проще, живее с меньшей подчеркнутостью "культу настроения"....

Знал я его всего в течении семи лет. Общение с ним было

интересно между прочим в том отношении, что между ним и со беседником никогда не чувствовалось никакой преграды: он был какой то близкий и "свой" со всяким собеседником, чего я никак бы не мог сказать о моих опытах (более продолжительных) общения с Толстым: Лев Николаевич помню своей воли подавлял всякого собеседника. Про Чехова он мне как то сказал (в 1900 г.), что он "слишком скромен для своего таланта". Это звучало некоторым упреком.

С его вдовой — Ольгой Леоновной Книшпер мне судило было иметь более продолжительное знакомство. Я с ней часто встречался в артистическом мире Москвы и мне пришлось, уже при большевиках, работать с ней вместе в одном учреждении — в Государственной Академии Художественных Наук (ГАХН), где она возглавляла театральную секцию и была членом правления. Она пережила своего знаменитого мужа на более чем полвека, но говорила про него очень мало. Надо помнить, что в ленинский период большевизма творчество Чехова не было одобряемо властями — его (как и Чайковского) считали певцом уныния и буржуазного пессимизма и "разложения". Раз я ее спросил, как по ее мнению отнесся бы Антон Павлович к новому режиму, если бы дожил до него. Она ответила, что "по своим настроениям А. П. был очень близок к большевикам (?) — (думаю, что она имела в виду его аргументизацию и "просвещение") и России бы им за что не покинул ни при каких обстоятельствах. Последнее утверждение наверное правильно — она во всяком случае знала его лучше чем я. Чехов как то не укладывался в Европу, в ней неспасенно тосковал. Зато его собственное творчество чрезвычайно хорошо уложилось в европейское сознание, и он стал одним из любимейших русских писателей в Западном мире. Тут несомненно сыграли роль его "гуманизм" и отсутствие на его психической палитре какой бы то ни было дикости и варварства.

Л. Сабанев